



А. А. ГРИГОРЬЕВ

**О постепенном, но быстром и повсеместном
распространении невежества
и безграмотности в российской словесности
(из заметок ненужного человека)**

Хотя мы во многом не согласны с почтенным и, к сожалению, неизвестным нам автором, мы с удовольствием, однако, даем место статье его. Она откровенна, искренна, а едкость ее для многих из нас, людей издающих и пишущих, пройдет не бесследно. Мы же с своей стороны не разделяем того тонко-политического учения, гласящего, что не для чего посвящать непризванных (т. е. публику) в закулисные тайны литературы. Мы верим в прямое и здоровое чутье масс и думаем, что честно высказанная правда никогда не повредит в глазах читателей ни литературе, ни тому уважению, которое *должна* питать к ней читающая и мыслящая публика, потому что без этого уважения немислима и сама публика. — *Ред.*

Vox in Rama audita est. Rachel plorans filios suos... *¹

Более четверти столетия, «от младых ногтей» питаюсь крупинками от великолепной трапезы отечественной словесности и черпаю мудрость из многообразных ее источников, начиная с покойника «Телеграфа» и покойника «Телескопа» до «зеленого» «Наблюдателя»², с его юношески-гегелианскими замашками и от «Зеленого наблюдателя» до «Современника» и иных новейших органов нашего умственного развития, я, конечно, имел достаточно времени и возможности ко многому присмотреться.

«В настоящее время, когда»...³, т. е. в настоящую чисто-практическую минуту, в ту великую минуту, когда г. -бов⁴ каждую статью свою начинает требованием высокого акта смирения со стороны своего читателя; в ту практическую минуту, когда знание, искусство, государственная свобода — объявляются строго логическим

* Глас в Раге слышен. Рахиль плачет о детях своих (*лат.*). — *Ред.*

мышлением г. Чернышевского побрякушками перед высшею идеею материального благосостояния (материальное благосостояние вещь хорошая, но зачем же казенные стулья ломать); в настоящую — продолжаю я мой длинный ораторский период — минуту, когда даже и самые осторожные, — бывало, слишком осторожные, мыслители, как почтенный критик «ветхих денми» «Отечественных записок», покушаются перескочить бездну, отделяющую их от новейших и, стало быть, самых близких к истине мыслителей и приносят самоновейшему мышлению идоложертвенную требу, чем же? — лишая народного значения Пушкина⁵; в настоящую, наконец, высшую минуту нашего умственного развития, я смиренно причисляю себя и многих, столь же отсталых, как я, моих товарищей к числу «ненужных», совершенно ненужных людей.

И это — без малейшей иронии, без малейшей гордости смирения, без малейшего даже желания порисоваться своей «ненужностью». Знаю, что немногие из собратий моих разделят со мною это смирение без иронии и затаенной гордости; знаю, что не один еще могучий, может быть, голос раздастся за «ненужных» людей... Но увы! и такой голос может подняться только за то, что были когда-то нужны «ненужные» люди, ненужные «в настоящее время, когда...».

Увы! Голоса «ненужных» людей, более или менее сильные, более или менее даровитые, могут иметь теперь только историческое значение, да, пожалуй, еще значение отрицательное, критическое...

В отношении к настоящему времени мы, «ненужные люди», поневоле, по самой натуре нашей — скептики и, стало быть, критики. Мы поневоле видим только его промахи, замечаем только темные пятна в его светилах, поражаемся только пробелами в его глубоких безднах... И это в нас, «ненужных» людях, вовсе даже не болезнь, которая называется *ambition rentrée*^{*}, а простое логическое последствие нашего умственного и нравственного развития.

Прежде всего в нас, «ненужных» людях, при глубоком сочувствии к прогрессу, укоренена до неизлечимости безотрадной вера в бесконечность прогресса, и вследствие этой веры — печальное убеждение в том, что душа человеческая с ее многоразличными струнами остается и останется всегда одинакова; что никогда ни луна не соединится с землею, как надеялся Фурье⁶, ни разнообразные краски народностей и личностей не сольются в общую, сплошную, здоровую и однообразную массу человечества, ни страсти человеческие не вырождаются в математически определенные и свободно удовлетворяемые потребности, — ни искусство, этот вечный гимн и вечный вопль человеческой

* Подавленное самолюбие (фр.). — Ред.

души, не иссякнет и не исчезнет... Если вы хотите, мы, ненужные люди, — даже и довольны нашей безотрадной верою, нашим печальным убеждением: но во всяком случае эта вера и это убеждение лишают нас возможности верить в утешительные теории г. Чернышевского и предпочитать вместе с ним яблоко настоящее яблоку нарисованному, и красавицу живую красавице писаной⁷: лишают нас возможности совершать акты смирения, требуемые г. -бовым от его читателей.

А от этого, согласитесь, и я и другие мои собратия остаемся в потере, весьма и весьма значительной. Уж одно то, например, государи мои, что мы не можем верить так пламенно, как адепты г. Чернышевского и -бова (в крепости веры самих этих глубоких мыслителей мы крепко сомневаемся) в того великого поэта, «которому только обстоятельства, как сказано в их писаниях, помешали получить в литературе нашей значение гораздо бóльшее, чем Пушкин и Лермонтов»; а ведь вера — счастье! Мы, с другой стороны, огорчаемся до глубины души, когда альбомными побрякушками называют вещи Пушкина⁸, которыми все мы некогда душевно жили и доселе еще жить способны: а ведь огорчения кровь портят! Правда, что бóльшая часть из «ненужных» людей не доводит своего огорчения до пределов крайних и вредоносных для благосостояния собственной их особы. Правда, что бóльшую частью все отсталые, «ненужные» люди, при какой-либо сильной выходке самоновейшей мудрости, ограничиваются тем, что соберутся, покачают задумчиво своими, уже сидящими и по бóльшей части увенчанными большим или малым венцом головами; дойдут, пожалуй, до некоторого пафоса озлобления, до решимости восстать наконец всей последней энергией на замашки ярых витязей, поклянутся, пожалуй, в порыве негодования разорвать всякие умственные и нравственные сношения с современною мудростью, — да так и останутся «при своем желании и при своем собственном интересе», как выражаются карточные гадалщицы.

Это, впрочем, главным образом от того, что бóльшая часть из «ненужных» людей уже некоторым образом увенчанные (*laureati*), стало быть, состоящие на покое.

Не имея высокого счастья принадлежать к числу моих «увенчанных» старших собратий, я, маленький ненужный человек, решаюсь, как *sentinelle perdue**^{*}, повиноваться своему, в настоящую минуту отрицательному, скептическому назначению, принять на себя роль Зоила⁹ в отношении к новым нашим Гомерам, отмечать по временам «несообразные» глаголы медоточивых уст их, роль неблагоприятную, роль даже опасную, но тем не менее полезную. «Большую полезностью»

* Часовой на изолированном посту (*фр.*). — *Ред.*

(grande utilité) — выражаясь техническим языком закулисного мира, я не имею поползновения быть, — но быть даже и простою «полезностью» — все-таки какое-нибудь назначение для «ненужного» человека.

Из довольно откровенного (отдаю себе в этом случае полную справедливость) заглавия моей первой попытки современная мудрость уже может усмотреть, что я имею цели весьма дерзновенные и даже в некотором роде неблагопристойные: не в том, конечно, смысле, чтобы я сразу заявлял себя, как покойник Измайлов «писателем не для дам»¹⁰ — до дам мне решительно никакого нет дела... Неблагопристойны могут показаться цели мои в отношении к российской словесности, на горизонте коей воссияли в последние времена столь яркие и руководящие светила, разливающие на юное поколение столь лучезарное сияние знаний и мудрости, — что кроме их, этих лучезарных светил, означенное юное поколение никаких других не видит, да и видеть не хочет.

С этого-то именно пункта мне и да будет позволено начать свои плачевные рапсодии.

Пункт же этот позволю уж я сам себе выразить в следующем, хотя и несколько резком, но тем не менее довольно справедливом, судя по фактам, положении, а именно:

Умственное развитие наше есть Сатурн, постоянно пожирающий чад своих, по мере их рождения. Все, что сделано вчера, а тем паче третьего дня, мы уже забыли сегодня и подаем большие надежды, что сделанное нами сегодня решительно зачеркнем завтра, и не только зачеркнем, а под веселую руку даже и оплюем.

В этом случае мы действительно люди прогресса в самом крайнем и слепом его определении, т. е. люди последней минуты. Перед нами все, даже истинно высокое и великое, проходило, проходит и, вероятно, долго еще будет проходить, не оставляя по себе никаких следов.

Прежде чем коснуться частных фактов, которыми я тотчас же мог бы нагляднейшим образом подтвердить мое резкое положение, позвольте мне основательно заняться одним общим, крупным фактом, — хорошим или дурным, это как вам будет угодно его признать, но во всяком случае — несомненным, а именно: повсеместным упадком общего человеческого образования, упадком, совершившимся чрезвычайно, до неожиданности быстро, в течение каких-нибудь десяти или много-много пятнадцати лет. Упадок же образования, на языке не совсем вежливом, но точном в своей простоте, называется, как вам, конечно, неизвестно — невежеством.

Эпоха нашего умственного развития от Карамзина до смерти Пушкина может быть названа эпохой широкого, всестороннего, энциклопедического, хотя и крайне поверхностного образования.

Мы тогда воспитывались (из вторых, впрочем, и притом из французских рук) на древности, на древней истории, даже на древней поэзии, хотя только очень немногие избранные были способны понимать настоящую поэзию этой поэзии и питаться историческим духом древности, а большая часть развивались как легкий, но общий представитель того племени, Онегин, т. е.

Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли,
Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей...

Я, конечно, не стану вас убеждать, что в этом образовании была хороша его поверхностность, но ведь и вы, конечно, не станете убеждать меня, что в нем была нехороша его всесторонность, его человечность, начинавшаяся, как и следует, ознакомлением человека с древностью, хоть по книге Бартеlemi: «Путешествие молодого Анахарсиса»¹¹ — ознакомлением с завещанными древностью великими сокровищами, хоть только по имени или по французским подражаниям, — ознакомлением с ее доблестями, хоть бы даже по старику Ролленю¹²... Не говорю уже о том, что *так* знакомились с древностью только Онегины, что в эпоху, давшую талант Гнедича¹³, трудолюбие Мартынова¹⁴, — не без оснований можно подозревать и более серьёзную сторону знакомства с древностью во многих.

Что касается до мышления, искусства, жизни среднего и нового европейского человечества, то мы, — я говорю про образованных вполне людей, и преимущественно про класс, писавший и поучавший другие классы, — были с ними знакомы столько же, сколько вся тогдашняя Европа была знакома с своим прошедшим и настоящим. По нашей переимчивости и по нашей удивительной способности отрицаться от своей собственной жизни в пользу всякой чужой, способности, которая и теперь за нами осталась неотъемлемо, только *sub alia forma**, мы доводим дело нашего гуманизма и европеизма даже до педантства. Недаром даже Онегин был

.....по мнению многих
Судей решительных и строгих,
Ученый малый, но педант.

* В иной форме (*лат.*). — *Ред.*

Потому что даже Онегин и тот

...знал довольно по латыни,
Чтоб эпитафьи разбирать,
Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить: vale!
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды два стиха.

Потому что даже и в воспитание Онегина, этого, повторяю, легко-го, но общего и типического представителя эпохи, гуманизм залег как нечто *обязательное*.

Опять-таки не подумайте, пожалуйста, чтобы я восторгался *поверхностностью* образования онегинской эпохи. Во-первых, — на столько вы, конечно, допустите во мне, «ненужном» человеке, здравого смысла, чтобы не восторгаться нагло вздором, а во-вторых, — я, «ненужный» человек, принадлежу моим умственным развитием к иной полосе, к эпохе *гордого* и *туманного* глубокомыслия; я, с «гордостью страданья»¹⁵, свойственной моей эпохе, имею право сказать, как Гамлет Щигровского уезда¹⁶: «Я Гёте наизусть знаю, я Гегеля изучал, милостивые государи!» Стало быть, восторгаться мне энциклопедизмом онегинской эпохи, даже и по эгоизму — не из чего. Я так только отмечаю факт.

Гуманизм и энциклопедизм, начал я говорить, довели мы до педантизма, главным образом из боязни показаться не европейцами.

Малейший недостаток в знании древней или общеевропейской жизни и литературы; ошибка в имени какого-либо, даже не перво-классного европейского деятеля или писателя и тем более незнание какого-либо из них, хотя бы по имени, — считались тогда невежеством. Попробовал бы тогда кто-нибудь из литераторов не знать имени и хоть перечня сочинений какого-нибудь не говорю уж *Реньяра*¹⁷, не говорю даже *Детуша*¹⁸ (французских комиков, позволю я себе прибавить, чтобы не поставить в затруднение нового пишущего поколения), а ка-кого-нибудь *La Chaussée*¹⁹, какого-нибудь *Lanoue*²⁰! Попробовал бы кто-нибудь из пишущей братии не знать какой-либо анекдотической черты из древней или новой, преимущественно, конечно, французской истории, — его заклевали бы, буквально заклевали бы тогдашние лите-раторы! Стоит только припомнить, как даровитому самоучке Полевому досталось за незначительнейший промах и с каким скандалом прово-дили его по всем тогдашним журналам с его «Грипусье»²¹.

Под влиянием Жуковского, под влиянием Пушкина, под влиянием даже жадно усвоившего или, лучше сказать, хватавшего на лету об-разование Полевого и, наконец, под влиянием серьёзных мыслителей,

каковы были Надеждин, Киреевский и другие литераторы в Москве, Одоевский в Петербурге, — к массе наших гуманных сведений, почерпнутых из французских источников, — присоединялись постепенно масса английская и масса немецкая. Как та, так и другая, конечно, немногими усвоялись внутренне, но зато всеми хваталась на лету, как Полевым, и для всех образованных, и в особенности пишущих людей, становились *обязательными*. Я не говорю о том, что истинно, в полном смысле образованные из наших литераторов тогдашних Киреевский, Хомяков, Одоевский, Надеждин, Погодин и некоторые другие, — многосторонностью образования и даже глубиной учености стояли в уровень со всеми тогдашними европейскими писателями и мыслителями. Нет! я говорю о массе образованного и вообще пишущего класса, говорю о том факте, что общее гуманитарное образование было тогда для этого класса обязательно и что отсутствие общего образования было казнимом беспощадно, как только оно выказывалось, хотя бы даже в мелочах.

Опять позвольте оговориться. Мне, маленькому «ненужному» человеку, шагу нельзя ступить без оговорок, «в настоящую минуту, когда» ...

В этом педантстве гуманизма была своя нехорошая сторона. Обязанные знать все чужое, зная это чужое часто только по имени и понаслышке, — мы ровно ничего не знали своего. Но не забудьте, что самые жаркие, самые исключительные ревнители и поборники «своего», славянофилы, по развитию и образованию своему совершенно принадлежали к этой эпохе, не хотевшей знать ничего своего и поставлявшей обязательным знание всего чужого.

Ну-с! Теперь, от этих фактов одной из эпох нашего прошедшего, позвольте перейти к нашему блистательному настоящему.

Если я скажу на первый раз, что общее, гуманитарное, энциклопедическое образование несколько поупало, сравнительно с эпохой предшествовавшей, то в этом, я надеюсь, никто со мной спорить не станет. Раздадутся только голоса против значения поверхностного, энциклопедического образования бывалых годов, в обличение его бесплодности и т. д., и в этих голосах будет, без всякого сомнения, много весьма справедливого. Главное же справедливое будет заключаться в том, о чем уже мною упомянуто, т. е. в том, что, зная тогда много лишнего чужого, мы решительно не знали ничего своего, ни нашего быта, ни нашей истории, ни наших преданий. Напротив, мы считали тогда каким-то *шиком* не знать ничего своего и всего своего чуждаться.

И если бы наша эпоха в замену поверхностного энциклопедизма, в замену на лету нахватанных сведений отличалась повсеместным

и глубоким знанием своего, она имела бы огромное значение в нашем умственном развитии как естественная и необходимая реакция самобытности, народности, против подражательности и пустого космополитизма.

К сожалению, глубокого знания «своего» незаметно как-то в молодых поколениях, за исключением нескольких личностей, обрекших себя на труд и изучение.

«Своим» зовется в настоящую эпоху только сегодняшнее, а все вчерашнее — и тем более третьегоднийшее, хотя бы вчерашнее было Гоголь, а третьегоднийшее — Пушкин, положительно пропадает без следов, и ведь пропадает, или, лучше сказать, кладется под спуд, вовсе не потому, чтобы оно само по себе было бессильно, само по себе неспособно оставить глубокие следы в общественном развитии...

Говорю вам, что вчерашнее — Гоголь, а третьегоднийшее — Пушкин!

А между тем и тот и другой как будто служили только подмостками для сооружения великолепных храмов настоящей эпохи! Великолепные храмы сооружены, например, и тем великим поэтом, «которому только обстоятельства (какие, право, досадные эти обстоятельства!) помешали в литературе нашей получить значение выше Пушкина и Лермонтова»²², и великим романистом, казнившим нашу Обломовщину²³, и иными. Ненужные же подмостки сняты — зачем их!

Оно так и быть должно, если вера в прогресс есть вера в последнюю минуту, но, милостивые государи мои, господа «нужные» люди, я, «ненужный» человек, покушаюсь в этом случае сделать вам *appel à la pudeur**!

При чем же вы нас наконец оставили?

Неужели же, не в шутку, при великом поэте, «которому обстоятельства»... и т. д., которого энергический талант признаем и мы, «ненужные» люди, — только не в такой мере и степени, как вы, да при великом романисте обломовщины?.. А ведь вы, господа «нужные» люди, решительно при сих только светилах оставили «неопытное» *младое* поколение!

Знаете ли вы, что часть этого «младого» поколения весьма плохо знакома с Пушкиным, потому что с гимназической скамьи упивалась только песнопениями о «Ваньке ражем»²⁴ и о «купце, у коего украден был калач»²⁵; а другая, позднейшая, стало быть еще современной часть этого «младого» поколения, плохо читала даже и Гоголя, заменивши его г. Щедриным и иными обличителями. Право, так!

А уж что касается до деятелей нашей до-пушкинской эпохи, до Жуковского, например, которого имя как будто кануло в воду в нашей

* Призыв к стыдливости (фр.). — Ред.

литературе, до Карамзина, то эти писатели известны нашему «младому» поколению только по хрестоматии г. Галахова²⁶. Золотая книга! Без нее совсем пропали бы в нашей российской словесности имена Жуковского, Карамзина, Дмитриева, Батюшкова и т. д. Те же из писателей наших, которые в хрестоматии г. Галахова не существуют даже и заклеянные звездочкой, выучиваются раз поименно к окончательному гимназическому или к вступительному университетскому экзамену и затем забываются навсегда.

Знакомства с древнею нашею письменностью, с допетровским нашим бытом, т. е. опять-таки знакомства, сколько-нибудь повсеместно распространенного, в нашей эпохе тоже как-то незаметно.

Знакомы мы в настоящую минуту только преимущественно с г. Некрасовым, с г. Гончаровым, с г. Щедриным и с пророком их г. -бовым, отчасти по старой памяти и по привычке с Тургеневым и отчасти же с Островским, да и то с весьма недавнего времени и притом, благодаря г. -бову, благодаря его ловкому, хотя и явно лукавому маневру обратить Островского в отрицательного писателя, в обличителя самодурства²⁷. До разъяснений же г. -бова к Островскому, несмотря на весь великий его талант, «младое» поколение оставалось как-то холодно, чтобы не сказать равнодушно.

Что касается до знакомства и сближения с народным бытом, то ни явление такого великого художника, как Островский, и таких произведений, как некоторые из произведений Писемского, ни издание доселе под спудом обретавшихся источников, ни ученые разработки, часто, как, например, буслаевские²⁸, обильные многосторонними результатами, не доказывают ничего в пользу повсеместного распространения знакомства с народным бытом в нашу эпоху. Можно сказать без малейшей гиперболы, что бо́льшая часть нашего пишущего, т. е. поучающего класса, точно так же разобщена с народною жизнью, как и в былую эпоху, и этим только могут быть объяснены те странные промахи, в которые впадают некоторые из пишущих и поучающих в наше время. В 1852 году, в предисловии к нескольким песням, изданным в третьем «Московском сборнике», Хомяков в лирическом увлечении писал: «Поется старорусская песня, сказывается старорусская сказка — и мы чувствуем в ней нашу, вечно живущую струю...» Но ведь нечто совершенно иное происходит теперь в нашем литературном мире. При раскрытии каких-либо новых сторон нашей народной жизни в песне ли, в сказке ли, в письменном ли историческом памятнике, с большею частью нашей мыслящей, пишущей и поучающей братии совершается какое-то, с позволение сказать, ошеломление. За примерами ходить недалеко. Песни, переданные в «Отечественные записки» г. Якушкиным²⁹, сказки, собранные

г. Афанасьевым³⁰, рассказы о народе настоящих знатоков народного быта, гг. Максимова, Потехина, Якушкина, — новизною своею так подействовали на добросовестное, но чисто кабинетное мышление почтенного и всегда очень осторожного и умеренного критика «Отечественных записок», что он «ничтоже сумняся» принес новооткрытому им миру в жертву... безделицу: народное значение Пушкина, основавши свои выводы главным образом на том обстоятельстве, что Пушкин мало распространен в народе и совершенно позабывши, что в народе, вообще малограмотном, трудно было распространиться Пушкину, что для решения этого вопроса надобно, по крайней мере, подождать следствий распространения грамотности. Пушкин мало знаком теперь и образованному «младому» поколению, да что же из этого следует? Не Пушкин же виноват, что пряные яства новейшей поэзии, приправленные всякими возбуждательными специями, отбили у «младого» поколения вкус к простой и естественной пище. Я вам говорю, и говорю, право, без особенного преувеличения, что даже с Гоголем, несмотря на всю соль и отрицательную силу таланта этого писателя, «младое» поколение мало знакомо, по крайней мере гораздо меньше, чем с произведениями г. Щедрина. Не думайте, Бога ради, чтобы в г. Некрасове, даже в г. Щедрине, я отрицал талант, даже высокую степень таланта: но неужели же гг. Некрасов и Щедрин более народные писатели, чем Пушкин и Гоголь, потому что больше распространены теперь в читающей публике? Не думайте также, чтобы самих гг. Некрасова и Щедрина винил я в том, что пряными яствами отбит вкус к простому и истинно прекрасному. Если я и виню кого-либо, — то пророков и адептов...

Да и то, впрочем, нет! Беззлобный «ненужный» человек, я никого не виню, я хочу только засвидетельствовать факты нашего времени...

Дело в том, что мы теперь все забыли, кроме нынешнего дня, все — и свое и чужое, что мы не знаем ничего, кроме нынешнего дня, ни своего, ни чужого, ни глубоко, ни поверхностно.

Я начал осторожно с того, что общее образование *несколько* поупало в нашу эпоху, а ведь можно сказать хоть и резко, но справедливо, что оно *совершенно* упало и притом упало не в читающем только, а в пишущем и поучающем классе... Примеров не оберешься.

Я мог бы указать вам на исследователей мифов, созидавших нашу мифологию по идеям Якова Гримма о Германской мифологии³¹ и обличенных в незнании Гримма по незнанию того языка, на котором Гримм писал;

На исследователей нашей древней торговли, скандально уличенных же в незнании языка византийских источников, которыми они подтверждали свои глубокомысленные исследования³²;

На знатоков английской литературы, признанных англоманов, смешивавших Бен-Джонсона с доктором Джонсоном³³;

На мирандольский пик (Пик де ла Мирандола³⁴), на церковь святого Этьенна в Вене и другие дивные местности (в переводе на русский язык Зандовой Консуэло³⁵), на биографию весьма малоизвестного писателя Шиллера, наполненную Фредериками Шиллерами, Миннами де Баригельм и другими подобными диковинками; на смешение писателя Юстинуса Кернера³⁶ с Теодором Кернером³⁷ и на обругание первого за последнего и т. д., и т. д.

Целые страницы можно было бы для любителей литературных скандалов наполнить грубейшими промахами в отношении к европейской литературе и европейской истории, какими изобиловали наши журналы и большие, и малые, и старые, и нововозникшие, в течение последних десяти лет, за исключением, разумеется, строгих пуристов, представителей бывалого образования, «Русской беседы» и «Русского вестника».

А ведь журналы наши были в течение не то что десяти, но двадцати пяти лет — источниками образования для нашей публики.

Ясное дело, что редакции их не были достаточно приготовлены литературно, чтобы достойно называться редакциями или исполняли дело свое с чисто «русским» неряшеством. Главным образом, они били только на интересы последней минуты, а обо всех остальных обязанностях нисколько не заботились. Многие же из них просто-напросто занимались «битьем по карманам», употребляя циническое, но меткое выражение покойного Сеньковского³⁸.

Итак, энциклопедизм, хотя и поверхностный, бывалого времени заменился в наше время замечательным невежеством и замечательным же равнодушием к какому бы то ни было невежеству. Всякий интерес к европейской литературе и к европейской истории исчез в публике, оставшись только в университетах и специалистах.

В самых университетах ознакомление с гуманными науками потеряло свой прежний, общий, охватывавший всю науку характер, а получило характер частный, монографический, характер подробного ознакомления с частями науки и с ученым методом разработки, что очень хорошо в повсеместно и классически образованной Германии и очень выгодно для преподавателей как ученых, — но едва ли полезно так для слушателей, которые бóльшую частью доселе еще по старой памяти

..... учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,

как по необходимости сжатое, но по возможности цельное изложение недавнего бывалого времени, эпохи Грановских, Редкиных, Рулье³⁹ и т. д.

Не думайте, сделайте милость, господа «нужные» люди, чтобы я вопиял на сильное развитие специализма в знаниях... Я вопию только и, конечно, в пустыне, на развитие его во вред полноте и цельности гуманного образования, вопию на то, что отсутствие этого общего гуманного образования не вознаграждается пока еще ничем в нашем умственном и нравственном развитии...

Знание, хотя и понаслышке, явления европейской жизни и литературы, обязательное для всех образованных, и тем более пишущих людей в прежнюю эпоху, приносило нередко значительные результаты, ибо не во всех же было оно знанием только понаслышке. Имена великих деятелей европейской мысли и жизни, носившиеся тогда в воздухе, звучавшие в ушах каждого читателя, иногда ведь будили же интерес и до ближайшего, непосредственного с ними знакомства. Поверхностные журнальные статьи о них, неизбежные в каждой книжке тогдашних журналов, все-таки что-нибудь сообщали о их деятельности, и это сообщаемое становилось нашим капиталом, и капитал этот нередко у многих приносил проценты... В наше же время статьи подобного рода, если они не приправлены какими-либо пряностями, остаются в журналах неразрезанными.

Эпоху поверхностного энциклопедизма сменила у нас с 1836 года другая эпоха, которую можно назвать философскою, или, по крайней мере, эпохою философского брожения. Она еще так свежа в памяти многих, что говорить о ней пространно — незачем. Деятельность Киреевского, Надеждина, Хомякова, Станкевича, пламенная пропаганда Белинского, беспощадный анализ писем о дилетантизме и писем об изучении природы⁴⁰, возвышенная речь Грановского — еще как будто и до сих пор не отзвучали для нас.

Пусть в эту эпоху мы часто шарлатанили, пусть не раз глубокомысленно трактовали мы о мифе Прометея и других подобных «вызывающих на размышление» предметах, целиком переводя из «*Deutsche Jahrbücher*»^{*41}; пусть ни одна, самая простая мысль не проходила тогда без известных *туманных* форм; но поколение Бельтовых и Рудиных само мыслило серьезно и мучительно, и учило Лежневых⁴² мыслить... В этом, я думаю, едва ли может быть какое сомнение.

Глубокое и веками купленное мышление Германии, это смелое мышление, стремившееся постоянно, в лице своих великих представителей —

* «Немецкий ежегодник» (нем.). — Ред.

Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, захватить целостность мировой жизни, вывести ее всю из одного принципа, — это мышление, разъединенное с жизнью у самих мыслителей Германии, в нас находило себе и жрецов, и вместе жертвы...

Зная немного, но зная зато с фанатической верою то, что знали, Рудины и Бельтовы прямо и непосредственно вносили в жизнь убеждения, не останавливаясь в процессах своего внутреннего мира ни перед какими переворотами, ни перед чем условным... Да: они смело входили в жизнь

...с прекрасным упованием,
С желаньем истины, добра желаньем...⁴³

Они все, одни, конечно, более, другие менее, ведали по многим душевным опытам тяжкие страдание мысли...

Мысль, мысль! как страшно мне теперь твое движенье,
Страшна твоя борьба,
Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье,
Неумолима, как сама судьба.
От старых истин я отрекся правды ради,
Для призраков давно я запер дверь...
Лист за листом я рвал заветные тетради
И все и все изорвано теперь!⁴⁴

Но они же ведали и минуты того гордого торжества мысли, когда им, как поэту «Монологов», становился не страшен Мефистофель.

Припомните, каким упоением мысли дышат девять частей сочинений Белинского, который только уже с половины сороковых годов становится более публицистом, чем философом, чтобы понять эту эпоху.

И между тем эта эпоха тревожного брожения мысли пропала для настоящего времени бесследно. Следы ее обнаружатся еще, может быть, после, но покамест нет никакого сомнения, что мы или занимаемся перетряскою вопросов, о которых уже писал и много писал Белинский, или умиленно услаждаемся резонерством г. -бова, не требующим от читателя никакого мышления, даже и не желающим будить в нем их собственного мышления; теориями г. Чернышевского — тоже доступными всем и каждому, как чисто отрицательные или грубо положительные; *ясными* философскими статьями, которые ясны потому, что не ищут всеохватывающего начала жизни. Манией ли позитивизма, манией ли бенекианизма⁴⁵ заражаются наши современные, даже и даровитые мыслители, стремления их равно не переходят из области мысли в жизнь, равно не действуют на цельность природы человека по той простой

причине, что действовать целюно могут только философия и искусство, вещи сами по себе цельные...

Почастный анализ заступил место стремлений к синтезу в поучающем классе, а в классе читающем и слушающем заметно совершенное отсутствие работы мысли. В самых впечатлительных натурах, вместо прежнего фанатизма веры или фанатизма безверия, развился дешевый и легкий скептицизм... Да и зачем мыслить?.. Г. Чернышевский так убедительно доказывает, что в исторической жизни народов все — вздор, кроме материального благосостояния; г. -бов так ясно видит повсюду одну глупость и подлость и с такою ясностью излагает нам наши насущные интересы, что избавляет нас от всякого труда думать: позитивисты-философы так искусно обходят все пункты, от которых можно идти к охватывающим целость жизни принципам...

А между тем мне, «ненужному» человеку, все кажется, что мы похожи на солдат, которые вполне вооруженные шли в ночной темноте, шли хоть и ощупью, но готовые на бой: на рассвете, вдруг, внезапно им указан другой пункт стремлений — и они бросились стремглав, побросавши даже оружие...

Мне все кажется также, что только то движение законно и верно, в котором сохраняется закон солидарности, последовательности, преемственности идей.

Вот вам на первый раз мои сомнения, сомнения «ненужного» человека.

Веря в одно, в неисчерпаемые тайны жизни, веря, следовательно, что жизнь умнее и меня, и всех нас, «ненужных» людей, взятых совокупно, я верю, однако, что она умнее и самих «нужных» людей, и потому-то считаю обязанностью, по крайнему разумению, констатировать факты.

один из многих ненужных людей

Нигилизм в искусстве

*Ex nihilo nihil*¹.*

Старая истина

Мы всегда были той веры, что искусство, каково бы оно ни было в данную эпоху, является всегда самым полным и притом самым разумленным выражением смысла жизни в данную эпоху. Этим мы не хотим, конечно, нисколько умалить ни заслуг, ни достоинств науки,

* Из ничего ничто (лат.). — Ред.